

# СОДЕРЖАНИЕ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ( <i>Сергей Ташкенов</i> ) .....	8
ВВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЯ ГНЕТА СТРАДАНИЙ, ПОИСКА СМЫСЛА И ВОЙНЫ.....	16
<b>I. МАГИСТРАЛИ И ПЕРЕКРЕСТКИ В ИСТОРИИ НЕРВОВ</b>	
ПО СЛЕДАМ ВЫСОКИХ ТЕОРИЙ — О НЕРВозНОСТИ МОДЕРНА.....	22
КАРЬЕРА «НЕРВОВ» КАК ПОНЯТИЯ .....	32
ТОЛСТОКОЖИЕ ЛЮДИ И СТЕКЛЯННАЯ ГАРМОНИКА: НЕРВНАЯ СЛАБОСТЬ В ЭПОХУ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ И РОМАНТИЗМА.....	39
КТО ПЕРВЫЙ: БИРД ИЛИ БИСМАРК? НЕВРАСТЕНИЯ КАК АМЕРИКАНСКАЯ ИЛИ НЕМЕЦКАЯ БОЛЕЗНЬ.....	57
ОТ СЛАБОСТИ К ВОЗБУДИМОСТИ: МЕТАМОРФОЗЫ И КОНСТАНТЫ НЕВРАСТЕНИИ.....	71
<b>II. ВЗГЛЯД ВРАЧА И ОПЫТ ПАЦИЕНТА</b>	
ГЛАЗАМИ ДОКТОРА: НЕСЧЕТНОЕ БОГАТСТВО ИСТОРИЙ ПАЦИЕНТОВ .....	83
ТЕОРИЯ НЕВРАСТЕНИИ И МЕДИЦИНСКИЕ СТРАТЕГИИ: МЕЖДУ НЕВРОЛОГИЕЙ, ПСИХИАТРИЕЙ И НАТУРОПАТИЕЙ .....	90
«Я» КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ: ТРЕВОГИ НЕРВНОГО САМОПОЗНАНИЯ И УПРЯМСТВО ПАЦИЕНТОВ.....	104
ЛЕЧЕНИЕ НЕРВОВ КАК УТОПИЯ И КАК ТЕХНИЧЕСКАЯ СЕТЬ: НЕРВозНОСТЬ И НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ КЛИНИКИ .....	114
НЕВРАСТЕНИЯ И ПОЛ.....	128
«ПОСТЕЛЬ — ПОДЛИННОЕ ПОЛЕ БОЯ НЕВРАСТЕНИКА»: НЕВРАСТЕНИЯ И МУЖСКИЕ СТРАХИ — ВЕНЕРА, БАХУС И МАЛЬТУС .....	150
<b>III. НЕВРАСТЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН МОДЕРНА</b>	
«МОДЕРНАЯ» ТЕОРИЯ НЕВРАСТЕНИИ И ЕЕ КРИТИКА: МОДЕРНОСТЬ И НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ; СПЕЦИФИКА ГЕРМАНИИ.....	176
ТЕХНИКА И ТЕМП, СДЕЛЬЩИНА И ШУМ: «МОДЕРНАЯ» ТЕОРИЯ В ПОИСКАХ ОПОРЫ.....	192

«НАСКВОЗЬ НЕРВОЗНА, СОБСТВЕННО, ТОЛЬКО БУРЖУАЗИЯ»: НЕРВОЗНОСТЬ И КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО.....	217
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИМПЕРАТИВ» И «ГИПНОТИЗМ СИЛЫ»: ОПЫТ САМОПОЗНАНИЯ В ЭПОХУ СИЛЬНЫХ ТОКОВ .....	234
«НЕРВНЫЙ ЧЕЛОВЕК ИЗ БУЭНОС-АЙРЕСА»: МАНИЯ И ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ КАК СПУТНИЦЫ НЕРВОЗНОСТИ.....	248

#### IV. НЕРВОЗНОСТЬ: ОТ БОЛЕЗНИ К СОСТОЯНИЮ КУЛЬТУРЫ

НЕРВОЗНОСТЬ КАК ЭПИДЕМИЯ И КАК ОДАРЕННОСТЬ.....	261
ОТ ЛЕЧЕБНИЦ К ПРИДВОРНОМУ ОБЩЕСТВУ: НЕРВОЗНОСТЬ И КРИЗИСНОЕ СОЗНАНИЕ ЭПОХИ ВИЛЬГЕЛЬМА II.....	270
КИНЕТИКА КАЙЗЕРА И СТРУКТУРНАЯ НЕРВОЗНОСТЬ МИРОВОЙ ПОЛИТИКИ ВИЛЬГЕЛЬМА II.....	273
«МЯГКАЯ» СТОРОНА ВИЛЬГЕЛЬМИНИЗМА И ЕГО ПОЗОР, ИЛИ ЗАКОЛДОВАННЫЙ И РАСКОЛДОВАННЫЙ МИР.....	294
ГОРОДСКАЯ ГИГИЕНА, ШКОЛЬНАЯ НАГРУЗКА, РЕФОРМА ЖИЗНИ: РЕФОРМАТОРСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАБОТЫ О НЕРВАХ.....	308
НАЦИОНАЛИЗМ И НЕРВОЗНОСТЬ: НЕРВНОЕ СОСЕДСТВО НЕМЦЕВ И ЕВРЕЕВ .....	323
СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО И НЕВРАСТЕНИЯ: БАТАЛИИ ВОКРУГ «РЕНТНОГО НЕВРОЗА».....	338

#### V. ПОВОРОТ К ВОЛЕ И НАЧАЛО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: КОЛЛЕКТИВНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕРВОЗНОСТИ

ПОКОЙ — ГИПНОЗ — «КУЛЬТУРА ВОЛИ» .....	353
«МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ» И «БУДУЩЕЕ НА ВОДЕ»: УЧЕНИЕ О НЕРВАХ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА; «НЕРВОЗНОСТЬ» КАК ПОЛИТИЧЕСКИЙ БУМЕРАНГ .....	371
ОЖЕСТОЧЕНИЕ МУЖСКОГО ИДЕАЛА И ПОЗОР «ШЛЮПИКОВ»: КРАХ НЕРВНОГО СМЫСЛОПРОИЗВОДСТВА.....	384
ВЫИГРАТЬ ВРЕМЯ ИЛИ ПОТЕРЯТЬ: МЫСЛИ О ВОЙНЕ В МИРНЫЕ ГОДЫ И СВИТОЕ С ТОЛКУ ВРЕМЯ .....	403
УЖАС И ОБАЯНИЕ ГОЛОВЫ ГОРГОНЫ: НЕРВОЗНОСТЬ И ВОЙНА.....	412
РАСКОЛ НЕМЕЦКОГО ОБЩЕСТВА И ЗАКАТ УЧЕНИЯ О НЕВРАСТЕНИИ; ОТ НЕВРАСТЕНИИ К СТРЕССУ.....	423
БОРЬБА И СМЕХ: ИЛЛЮЗИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ НАД НЕРВОЗНОСТЬЮ .....	441

ПОСЛЕСЛОВИЕ АВТОРА К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ.....	450
СОКРАЩЕНИЯ .....	453
ПРИМЕЧАНИЯ.....	454
ЛИТЕРАТУРА.....	512

## ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Нервная культура на свидании с прошлым и настоящим:  
Спираль истории и культура нервов.

«[...] тут все нервные болезни назначили друг другу свидание...»<sup>1</sup> — писал Фридрих Ницше в конце 1880-х годов о молодом народном христианстве, но блестящая формула ставит подпись под целой немецкой эпохой — от Бисмарка до Гитлера.

Конечно, культурная история нервов, которую пишет Йоахим Радкау, не ограничивается названными рамками и тем более не заканчивается — это диктует само понятие Истории, процессуальной и нескончаемой, по крайней мере до тех пор пока нервы не исчезнут из науки, из языка, из человека. Пока не исчезнут — вместе с самим человеком. И все же временные рамки очерчены удивительно четко: культурная история нервов начинается именно там, где тянущаяся из античности тень Меланхолии сменилась болезненным демоном нервности и растворилась (но не закончилась) там, где великое потрясение заставило говорить о другом. Если сегодня новая мода на «высокочувствительность» и «нервозность» — всего лишь реабилитация прежней моды, только в новых условиях и декорациях<sup>2</sup>, то в эпоху раннего модерна дань «нервной» моде являлась реакцией на абсолютное новшество — невиданное, неслыханное и крайне удобное. Сложно представить, чтобы без двух столетий напряженного осмысления этого открытия — что «я есть нервы», — после паузы великого потрясения была возможна данная книга, равно как и многие другие в западной культуре. Почему?

Ответ кроется в исследовательском материале, к которому обратился Радкау, — в отдельных историях болезней ушедшей эпохи, и более того — в истории этих историй, которая незаметно, подспудно, но совершила переворот в картине мира человека и его повседневности — отдельные, частные, маленькие жизни оказались сильнее науки. Поэтому главный предмет, и метод, и цель труда Радкау — История.

Сегодня, говоря о «нервах», автоматически выстраиваешь логико-семантическую цепочку: «Проблемы с нервами? — Иди к невропатологу!»

<sup>1</sup> Ницше Ф. Воля к власти / пер. с нем. Е. Герцык и др. М., 2005. С. 123.

<sup>2</sup> Ср. на современном американском материале: Стоссел С. Век тревожности. Страхи, надежды, неврозы и поиски душевного покоя. М., 2016.

И точно так же, когда говоришь о психике: «Проблемы с психикой? — Тебе к психиатру!» Конечно, так называемые психические расстройства и расстройства нервные следует разделять. И все же в культуре Германии и Австрии они традиционно (во многом благодаря грамматико-синтаксической специфике немецкого языка) идут рука об руку: как *Nerven- und Geisteskrankheiten*. Изначально, до становления соответствующих научных дисциплин, такого деления не было, а «нервно- и душевнобольные» долгое время шли рука об руку, да и сегодня они тоже несут один общий ярлык не-нормы. И, как наглядно показывает исследование Радкау, именно в пространстве культуры нельзя очень четко разводить психиатрию и, скажем, невропатологию. Поэтому история нервозности должна начинаться с истории сумасшествия.

История эта в Новое время была стремительной. Красивая традиция сложилась так, что ключевой момент в зарождении научного и культурного дискурса психиатрии и «грамотного», «дифференцированного» отношения к безумным принято легко и приятно сводить к элегантному жесту французского психиатра Филиппа Пинеля в знаменитых больницах Бисетр и Сальпетриер — жесту, увековеченному на замечательном полотне Тони Робер-Флери: «Филипп Пинель снимает цепи с больных» (1795). Да, это был действительно большой акт гуманности, заложивший основы психиатрии, — с безумных сняли кандалы, они получили новые условия существования. Как известно (спасибо Фуко), период 1650–1800 годов был эпохой административного ограничения сумасшедших: нерасчлененную массу «неразумных» интернируют, изолируют, запирают: «Исчезнет лепра, фигура прокаженного изгладится или почти изгладится из памяти людей — однако все эти структуры останутся неизменными»<sup>3</sup>. Лишь со сменой культурной парадигмы в конце XVIII века в сторону формирующейся концепции индивидуальности и сочувствия (Лессинг) безумец перестает восприниматься как «неразумное» животное — безумец попадает в поле зрения сочувствующего интереса Просвещения, безумец не виноват, безумие может настичь каждого. И когда категория «неизлечимых» распадется на категории «подлежащих призранию» и «потенциально излечимых», тогда и зародится психиатрия и Пинель снимет с больных оковы.

Однако, пишет Фуко, мало что изменилось: безумцев заперли в новых формах репрессии — психиатрических классификациях, на которых врач будет возводить свой особняк власти, ибо «[в]ластные отношения составляли априори психиатрической практики» и «основной предпо-

<sup>3</sup> Фуко М. История безумия в классическую эпоху. М., 2010. С. 15.

сылкой этих властных связей было абсолютное правовое преимущество не-безумия над безумием. Преимущество, которое выражалось в терминах знания, действующего на незнание, [...] нормальности, воцаряющейся над расстройством и отклонением»<sup>4</sup>. Такая оптика присуща всей истории психиатрии или же невропатологии. Два совершенно разных и случайных примера из Германии и Франции наглядно демонстрируют эту позицию — как предысторию того «нервного» дискурса, «археологией» которого занялся Радкау.

Первый пример: знаменитая книга немецкого писателя Христиана Генриха Шписа «Биографии безумцев» (1796), за основу которой он взял реальные жизненные истории, разбавив их вымыслом. Изображение сумасшедших целиком заглушается аукториальной манерой рассказчика (иного не допускала и сама поэтика его эпохи), который смотрит на сумасшедших (а они и были-то всего лишь, как сказали бы потом, продуктом своих страстей и нервов) и их истории с позиции сочувствующего «разума» наблюдателя: «Безумие ужасно, но еще ужаснее то, что так легко самому пасть его жертвой. [...] Повествуя Вам о биографиях этих несчастных, я не только хочу пробудить в Вас сочувствие, но и наглядно доказать, что всякий — сам хозяин своего несчастья, а значит, в нашей власти — подобного несчастья избежать»<sup>5</sup>.

И второй пример: знаменитый французский психиатр Жан-Мартен Шарко, учитель Фрейда, основатель одного из учений о неврастении, любитель гипноза и создатель «душа Шарко». На своих лекциях по вторникам и пятницам Шарко в буквальном смысле демонстрировал истерию, принципиально исходя из изображаемости симптомов: «Я дам Вам почувствовать эту боль, я дам Вам увидеть ее свойства. Как? Тем, что я покажу Вам пятерых больных»<sup>6</sup>. Далее начиналась *игра*: появлялась девушка, искусственным образом воспроизводила симптомы истерии под комментариями и объяснения дирижирующего всем действием врача. Истерия получала драматичную театральность, *показывая себя*, ситуация в целом превращалась в перформативный акт, увековеченный на полотне Андре Брюйе (1887).

Что объединяет оба примера? Конечно: аукториальность, позиция власти и решающее слово дирижера. Будь то герои книги Шписа, или фиктивные пациентки Шарко, их проблема, равно как и проблема всех

<sup>4</sup> Фуко М. Психиатрическая власть. СПб., 2007. С. 408-409.

<sup>5</sup> Spieß С.Н. Biographien der Wahnsinnigen. Berlin, 1966. S. 7.

<sup>6</sup> Цит. по: Ralsler M. Das Subjekt der Normalität. Das Wissensarchiv der Psychiatrie: Kulturen der Krankheit um 1900. München, 2010. S. 40.

больных в классической медицине, одна — будь то серьезное психическое расстройство или легкая нервная дилемма — их *не слышно*. Сумасшедшие, нервные, все выступают «*немыми* носителями знаков»<sup>7</sup>. Рассказчик, врач, все отнимают у героя его слово, голос, лишают его «дееспособности», права говорить и рассказывать свое страдание самому — так, что в итоге психиатрия оказывается «монологом разума над безумием»<sup>8</sup>, а «вся действительность [пациента] сконцентрирована во внешней воле — во всемогущей воле врача»<sup>9</sup>.

Поворот от такого семиотического обращения с больными к нарративным техникам коммуникации открывает в этой истории совершенно иные стороны. И собственно здесь рождается сама возможность исследования Радкау — жанр истории болезни.

Великая заслуга здесь вовсе не за психиатрией, а за писателем Карлом-Филипом Морицем, который еще до того, как родилась психиатрия, в 1783 году основал журнал экспериментальной психологии «*Gnothi sauton!*» («Познай себя!») и собирал для него истории, трогательные и прежде всего необычные, истории отклонений и необычных явлений душевной жизни человека. Свои частные истории ему присылали живые люди — таким образом, впервые больной или мучимый своим состоянием субъект обрел возможность говорить и рассказывать свою историю от своего же лица. К этому и призывал Мориц: «Пусть же заговорят безумные, пусть каждый в этом состоянии беспорядка заговорит лишь тем языком, который он выучил, — каждый выскребет обратно на свет мысли, которые он когда-то подумал, пусть даже и лишь однажды, но сразу отбросил их от себя»<sup>10</sup>. Посредством истории больной возвращал себе дееспособность. Неспроста в немецком языке в корне этого слова (*mündig*) лежит «рот» — *Mund*. Ему больше не требуется «опекун», чтобы рассказать его историю, он становится «речеспособным» — *sprachmündig*<sup>11</sup>. Больной получает возможность быть услышанным. И его слышит широкая публика.

Сам жанр клинической истории оказался в силу своей схожести с жанром новеллы необычайно популярным — как в медицине, так и среди

<sup>7</sup> Ralser M. Das Subjekt der Normalität. Das Wissensarchiv der Psychiatrie: Kulturen der Krankheit um 1900. München, 2010. S. 25.

<sup>8</sup> Foucault M. Wahnsinn und Gesellschaft. Frankfurt am Main, 2015. S. 8.

<sup>9</sup> Фуко М. Психиатрическая власть. СПб., 2007. С. 174.

<sup>10</sup> Moritz C.-P. Gnothi sauton oder Magazin zur Erfahrungsseelenkunde. Bd. 3. Berlin, 1785. S. 118.

<sup>11</sup> См.: Ralser M. Op. cit. S. 18, 25.

читающих масс, чей интерес подогревался и пикантностью, ужасностью, удивительностью, содержащейся во всякой истории. Это объясняет и феноменальную популярность главного сборника таких историй — «Половой психопатии» Рихарда фон Крафт-Эбинга, своеобразной «Тысячи и одной ночи» сексуальной патологии, даром он пытался скрыть волнующие подробности за латинскими терминами. А истории, описанные Фрейдом, которые он и сам открыто сравнивал с новеллами, были сконструированы уже настолько искусно, что читались как детективы. Так все эти голоса и частные жизни проникли в общественность и культуру, так складывался тот самый повсеместный нервный дискурс, о котором идет речь, и он отделялся от дискурса безумия, не менее мощного, хоть и более быстротечного. Но это уже другая история.

Разделила их в существенной мере сама наука в процессе собственной дифференциации и определения себя и своего предмета. Разделила терминологией. Отправной точкой в истории названия болезненных состояний, при которых не страдала человеческая «материя», могла стать, конечно, только душа — *Seele*, — отсюда возникли и недуги, и болезни, и мир, которые по сути были психическими, но назывались «душевными»: *Seelenleben, Seelenleiden, Seelenkrankheit*; и, соответственно, одним из первых имен самой психиатрии было *Seelenheilkunde* — буквально «умение исцелять душу». А раз появляется понятие болезни, то в игру вынуждена вступить медицина, уже обладающая статусом научного мероприятия, для которого душа семантически перегружена, размыта и, говоря откровенно, сентиментальна. Тогда обратились к понятию *Geist* — дух, так как это уже категория, прижившаяся в философии, пусть статус ее как науки сомнителен, но она выстраивает явления объективного и субъективного мира в систему и пытается их трактовать. Так страдание души в процессе самоутверждения психиатрии как науки перешло в болезнь духа — *Geisteskrankheit*, хотя суть осталась прежней. Но и *Geist* — слишком абстрактно, ибо философично, поэтому лучше психика — *Psyche* — да, тоже абстрактно, но уже конкретнее, так как заимствовано из языка академических кругов. Наконец, болезнь стала психической: *psychische Krankheit*. Почему же лучше всего прижились именно «нервы»? Вероятно, не только потому, что нервные расстройства в обществе превосходят психические количественно. Как кажется, нервы давали больше ощущения некой материальности, нервы были ближе к телу человека, которое он ощущает постоянно, за нервы легче зацепиться, чем за непонятную ученую психику, абстрактный дух, не говоря уже о совершенно эфемерной душе. Нервы оказались ближе к повседневности.



Более того, «нервы» стали стремительно (как и слово «быстро», *schnell*) проникать в ткань языка, поселяться в его плоти. Сам немецкий язык стал приучать своих носителей к нервам как к чему-то повседневному. Так, нервная система называлась *Nervenkostüm* — «нервный костюм», а собственное раздражение стало очень удобно лаконично выражать с помощью нервов: сказать, что кто-то «пилит мне нервы» (*Nervensäge*), или пожаловаться, что у тебя «украли последний нерв» (*den letzten Nerv rauben*). «Нервы» в языке даже победили безумие: так, «Я сойду с ума!» не имеет в виду безумие в клиническом смысле, но подразумевает именно нервную перегрузку — «не выдержат нервы».

Стремление психиатрических наук к власти и расширению сфер своего влияния сказывалось на культуре и положительно. Не только в том плане, что психиатры стали проецировать свои методы и знания на объяснение культуры в широком смысле слова (иногда заходя и слишком далеко, яркий тому пример — евгеника и ее последствия для немецкой истории), но и в том, что она питала культуру художественную, а художники, осмысляя новые, научные концепции человека, не только оформляли культурно-социальные тенденции собственными средствами, но и задавали им впоследствии направление и тон.

Ведь сложно себе представить «нервный» дискурс без яркого периода высокого модерна — открытие внутреннего мира, теперь вдруг объяснимого новыми средствами и словами, обращение «вовнутрь», «вчувствование» готовили золотой рубеж веков, взбудораженный предчувствием будущего, к тому, чтобы это будущее увидеть в нервах. Так, Герман Бар (пожалуй, самый влиятельный теоретик искусства модерна) на рубеже веков абсолютно в духе времени провозгласил, что новая литература повернется к «новой психологии», а новый идеализм — к новому содержанию: «Новый идеализм выражает новых людей. И они — нервы; все остальное успело отмереть, пожухнуть и зачахнуть. Они могут переживать одними лишь нервами, реагировать — из одних лишь нервов. Все происходит на их нервах, и все, чего они добиваются, исходит от нервов. [...] Содержание нового идеализма составляют нервы, нервы, нервы»<sup>12</sup>. По Бару, нервы станут единственно возможным способом выражения нового человека, а «нервная романтика» и «мистика нервов» вытеснят натурализм. Важно здесь не то, насколько оправдались чаяния Бара в отношении искусства (а некоторые из них оправдались) и сколько сторонников или противников он нашел, но важно, что это — один из

<sup>12</sup> Bahr H. Die Überwindung des Naturalismus // Ders. Die Überwindung des Naturalismus. Weimar, 2004. S. 132.

ключевых текстов эпохи, а значит — часть его дискурса, который он во многом и генерирует.

Пример из другой области подтверждает, как слаженно работают дискурсивные механизмы: «Воспоминания нервнобольного» (1900–1902) Даниэля Пауля Шребера — опыт самоанализа, где даже нервное расстройство раскрывается пациентом через понятия нервов. Шребер пишет, что ему удалось перевести свое душевное состояние на «язык нервов», «который здоровый человек, как правило, не осознает. [...] Использование этого языка нервов при нормальных обстоятельствах зависит, конечно, [...] от воли того человека, о нервах которого идет речь. Ни один человек не может заставить другого пользоваться этим языком нервов. Но в моей ситуации, с момента [...] критического поворота моей нервной болезни, настал тот случай, что нервы мои извне и беспрестанно без малейшего повода приходят в движение»<sup>13</sup>. Как и с Германом Баром, здесь важна не реализация идеи в практической жизни, но тот факт, что подобный текст — во всех смыслах слова продукт культуры, и вместе с тем сам — ее созидующий механизм. Как иначе объяснить, что непревзойденнейшим архитектурным шедевром Отто Вагнера была построенная в первое десятилетие XX века в Вене церковь Св. Леопольда для душевнобольных при крупнейшей австрийской клинике для нервно- и душевнобольных Ам Штайнхов? И что в психиатрических клиниках были не только знатные пациенты, но и знатные «гости»?

Психиатрические науки получали особый фидбэк от высокой культуры. Через основанный в рамках науки жанр патографии (клинической биографии выдающейся личности) они осваивали пространство культуры на свой лад — культура неврологического прочтения нервной культуры. Главным проектом этих претензий был знаменитый труд «Гениальность, безумие и слава» психиатра Вильгельма Ланге-Эйхбаума, охватывающий 11 томов патографий практически всех ключевых фигур культурной истории. Проект написания такой «клинической истории культуры» и утверждения психиатрии как ведущей науки не состоялся или не завершился. Однако, как видно, написать культурную историю нервов — достойный проект, который Йоахим Радкау виртуозно воплощает в жизнь на страницах этой книги.

Исходя из частных, отдельных историй пациентов и их болезней, Радкау пишет не просто историю концепции «нервов». История «нервного» дискурса как история говорения о нервах оборачивается историей целой культуры и историей отдельной страны. Психическое, особенно в

<sup>13</sup> Schreber D.P. Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken. Berlin, 2003. S. 34.

своим патологическим, диковинным разрезе, становится основой толкования культуры — как национальной (в плане «особого пути» Германии и ее самосознания), так и художественной (в плане различных модусов рефлексии), и личностной. В колоссальной работе Йоахима Радкау отчетливо просматривается удивительная и редкая жемчужина: История как метод.

*Сергей Ташкенов*

## ВВЕДЕНИЕ

До сих пор все, что придавало красочность бытию, не имеет еще истории: разве существует история любви, алчности, зависти, совести, благочестия, жестокости?

*Фридрих Ницше, «Веселая наука»<sup>1</sup>*

Под известной историей Европы течет история подспудная. Она суть не что иное, как судьба вытесненных и обезображенных цивилизацией человеческих инстинктов и страстей.

*Макс Хоркхаймер, Теодор Адорно, «Диалектика Просвещения»<sup>2</sup> (см. примеч. 1)*

### ИСТОРИЯ ГНЕТА СТРАДАНИЙ, ПОИСКА СМЫСЛА И ВОЙНЫ

Имеет ли неврозность историю? Может ли вообще существовать подобная история? Если речь идет о термине и дискурсе, то начало такой истории датируется на удивление точно и даже просматриваются национальные пути ее развития. Около 1880 года сначала в США, а вскоре и в Германии жалобы на неврозность, нервную слабость, «неврастению» становятся знаменем времени. Почти мгновенно возникает обширный поток специальной литературы, ослабевающий лишь к 1914 году. Вместе с ним растет подозрение, что эти труды и сами по себе играют немалую роль в распространении неврозности. В 1909 году берлинский врач Отто Штульц предостерегает, что первой заповедью любого невротика должен быть запрет на чтение медицинской литературы. Дискурс нервов стал подпитываться подводным течением самокритики, но и эти тексты повествуют о «нашей неврозной эпохе».

Обаяние нервов вышло далеко за пределы медицины. «Я? Я неврастеник. Это моя профессия и моя судьба», — представляется пациент Зегемюллер в повести Генриха Манна «Искушение доктора Бибера» (1898). Неврастения — это новое понятие было введено нью-йоркским неврологом Джорджем М. Бирдом и после 1880 года с удивительной скоро-

<sup>1</sup> Цит. по: Ницше Ф. Веселая наука / пер. с нем. К. Свасьяна // Ницше Ф. Полн. собр. соч.: в 13 т. Т. 3. М., 2014. С. 249. — *Здесь и далее примеч. науч. ред.*

<sup>2</sup> Цит. по: Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / пер. с нем. М. Кузнецова. М.; СПб., 1997. С. 282.

стью распространилось и в Германской империи. Пример Зегемюллера показывает, что на рубеже веков неврастения для иных людей становилась полноценным содержанием жизни. История нервозности — это история не только страдания, но и сострадания. Генрих Манн, конечно, иронизирует над своим героем. Но вызывала ли у него веселость сама тема? В 1915 году его друг и врач диагностировал у него «тяжелую неврастению». И для него, и для его брата, Томаса Манна, нервы были более серьезной темой, чем это может показаться современному читателю. В 1910 году поэт Георг Трапль говорил об «общей нервозности столетия» небрежным уничижительным тоном. При этом он сам был «клубком нервов» и очень страдал от своего века, который в другом тексте называл «безбожным и проклятым» (см. примеч. 2). Ирония не всегда правдива, и насмешки над модной тогда темой нервов помогали забыть о собственном недуге.

Первый импульс к написанию этой книги дала биография Дизеля, написанная его сыном Ойгеном. Нежный сын изображает своего отца как вечно спешащего «человека под высоким давлением», который предъявлял к себе те же требования, что и к своему мотору: за счет повышения давления достичь максимального коэффициента полезного действия. Таким образом он стал прототипом своей нервозной эпохи. Его страдания от постоянных перегрузок, сверхтребований, «отчаянных метаний» между различными амбициями были, несомненно, подлинны — судя по всему, изобретатель покончил с собой. Если современных историков медицины смущает размытость концепта неврастения, то история экономики и техники ясно показывает, что жалобы современников на мучительные «суету и гонку», сколь бы стереотипны они ни были, имеют под собой вполне реальную основу. И в то же время судьба Дизеля указывает на то, что проблемы с нервами возникали не только за счет внешнего давления технического прогресса, но и изнутри, за счет переноса на самого себя технических идеалов эпохи.

Разразившаяся в 1880-е годы эпидемия нервозности — очевидное начало современного опыта стресса: именно тогда стресс впервые становится историческим событием. Но было ли происходившее тогда аналогично современному стрессу? Без надежной проверки нельзя проводить параллели между днем сегодняшним и тем, что понималось под нервозностью 100 лет назад. Нужна работа археолога. К примеру, угроза инфаркта тогда не была типична для неврастеника. Неврастения считалась «возбудимой слабостью», причем элемент слабости поначалу доминировал и заставлял потенциальных пациентов направляться на курс лечения. Лишь со временем усилился элемент суеты, рассеянной и судо-

рожной сверхактивности. Вопрос не только в том, какое именно явление считалось тогда нервозностью, но и в том, когда это понятие стало размываться. И еще интереснее, как культура пришла к тому, чтобы представить подобное пограничное состояние в качестве характерного расстройства.

Как тревожная нервная панорама эпохи воплотилась в конкретном понятии и стала доступна для осмысления и обсуждения, мне удалось проследить в дневниках своего деда. Любопытство проснулось, когда я обнаружил, что дневники существуют в двух версиях — оригинальной, написанной в отмеченный день, и второй, более поздней, переписанной для детей и озаглавленной *Memorabilia*. Этот мой дед, жизнь которого отмечена датами 1868–1932-й, со своей военной выправкой, сверкающим взором и лихо закрученными кверху усами, на фотографиях кажется олицетворением образованной буржуазии кайзеровской Германии. Это был воспитанник военного корпуса, мечтавший стать офицером и восхищавшийся не только историком Генрихом фон Трейчке, но и локомотивами. Впоследствии, став лютеранским священником, он воплотил в себе союз трона и алтаря. На фотографиях видно, как после падения кайзеровской Германии он за короткий срок чисто физически одряхлел и состарился, хотя ему было на тот момент всего около 50. В *Memorabilia* за февраль 1901 года он с горьким сожалением вспоминал о «великой перемене», которая произошла с ним тогда и одарила его «бедой», «клином вошедшей во всю его жизнь»: «У меня появились — нервы». Этот первый внезапный всплеск нервозности он пережил утром 28 января 1901 года в небольшом соборном кабаке в Брауншвейге, который всегда был таким «патриархально-уютным». В оригинальной версии дневника он в тот день волшебного слова «нервы» еще не нашел, и там было записано, что у него «внезапно так заколотилось сердце, [что он] просто не мог больше ждать [...] и в волнении без конца бродил по городу несмотря на сильный снегопад». Его спонтанной реакцией был не курс терапевтического лечения, а движение — чтобы вытеснить неприятное ощущение. Поначалу для этого тревожного волнения у него не нашлось нужного слова, и лишь месяц спустя он впервые использует «нервы». Как будто нервы сами по себе были нарушителем спокойствия. В написанных позже *Memorabilia* нервы обретают собственное бытие, как вторгшийся из внешнего мира чужак: «Да, это был фатальный гость, которого я завлек в свой привычный дом, и совсем ужасно было то, что он там расположился и уже никогда не покинул».

Что же случилось до того? В 1899 году, в один год с кайзером Вильгельмом II, дед мой совершил путешествие в Палестину. На то была особая

причина — он мечтал стать пастором в немецкой диаспоре на Святой Земле. Однако его *Memorabilia* на удивление мало говорят об этой поездке, меньше чем о велосипедной поездке из Брауншвейга в Хильдесхайм. Дело в том, что поездка к Святой Земле обернулась для него чрезвычайно странным и непонятным опытом, после чего его романтические планы о пасторстве в Земле обетованной развеялись как дым. В оригинальном дневнике записи про Святые места куда подробнее: «Плач прокаженных просто чудовищен, его невозможно себе представить». «Религиозное чувство не получает никакой подпитки». Уже предыдущая вылазка в Александрию, тогдашний греховный Вавилон, «несколько подпортила» его настроение и пробудила тревожные плотские потребности. До этого он «со всей серьезностью намеревался не жениться», чтобы подать своей пастве пример аскезы. Теперь его душевному покою пришел конец. В 1901 году на меловых скалах Рюгена ему припомнился вид с горы Кармель, и воспоминания ожили вновь. «Кучера на обратном пути посадили с собой на козлы двух девушек! [...] Я занервничал!» И в последующие дни все время одно и то же: нервы! Ему удалось попасть на прием к знаменитому Швенингеру, бывшему лейб-врачу Бисмарка. Тот укрепил его в намерении жениться, поскольку в этом случае «все пройдет само собой». Пациент отметил этот совет двумя восклицательными знаками и женился. Этому терапевтическому приему я обязан своим появлением на свет. Однако от своей нервозности дед так и не избавился. Ключевое слово «нервы» вошло в его лексикон раз и навсегда. Все началось с кризиса смыслов и — одновременно — возбуждения чувственности и уже никогда не успокоилось. Что-то подобное произошло и со всей Германской империей. Неврастения наделила смыслом целый пучок жалоб. Однако и этот смысл не помог обрести покой.

Об истоках Первой мировой войны написаны целые библиотеки. И тем не менее остается психологической загадкой, почему немецкие правящие слои ввязались в мировую войну, больше того — спровоцировали ее и отчасти действительно к ней стремились. Ведь время до 1914 года, по крайней мере для людей состоятельных и благополучных, было прекрасным, настоящей *Belle Époque*. Откуда эта неспособность наслаждаться мирным счастьем, удержать его? Поначалу кажется, что история нервов, которая раскрывает «мягкие», далеко не милитаристские стороны довоенного общества, только усугубляет эту загадку. Однако поиски смыслов и нервных сил содержат и ключ к решению. В итоге тема нервозности натягивается огромным козырьком над всем пространством культуры — от медицины до политики, от неврологических клиник до придворного сообщества. Нервозность как болезнь и

как состояние культуры, как индивидуальный опыт и как состояние нации: вследствие исторических процессов все эти многочисленные нервозности со временем образуют общую нервозность эпохи.

Развязывание Первой мировой войны обычно объясняют структурой международной политики в эпоху империализма и/или социальными структурами кайзеровской Германии. Однако ни первое, ни второе объяснение не обладает неизбежной логикой. Здесь кроется еще не получившая удовлетворительного теоретического объяснения и решаемая в основном за счет красноречия проблема взаимосвязи между структурами и цепочками поступков, изменяющих эти структуры. Чтобы преодолеть это, нужно выяснить что-то о кинетической энергии общества — о той расходящейся и все изменяющей тревоге, которая взаимосвязана с тем, как именно познаются существующие структуры. Это также побуждает точнее исследовать ту «нервозность», о которой столько говорилось и писалось в эпоху, предшествующую 1914 году.

Чтобы понять, что тогда происходило, нужно все время помнить о двуликости понятия «нервозность»: она была культурным конструктом и в то же время подлинным расстройством. Взятые в отдельности симптомы — кишечные и желудочные боли, импотенция, сердцебиение, бессонница, состояние тревоги и слабости — многозначны и не специфичны; целостной нервозностью они становятся лишь посредством обобщения и интерпретации. Однако в свое время эти истолкования не были произвольны. Культура — это не намеренно действующий субъект, запросто выдумывающий себе болезни. И нервозность того времени — не просто модное слово — она была и остается тревожным и мучительным подлинным опытом.

Да, без дискурса нервов нет нервозности. Вплоть до свидетельств пациентов, начиная с моего деда, прослеживается, как вибрирующий образ нервов высвобождает этот опыт. Но в том-то и дело: правильно понятая история дискурса — это история не только слов, но и — еще более — живого опыта. Слишком часто «история дискурса» вырождается в историю одних дискуссий, как будто вся всемирная история есть бесконечное заседание ученых мужей. Дискурс нервов представлял собой иное явление: у него не было модератора и были, как мы увидим, собственные дикие, непостоянные, эмоциональные эскапады. В этом и его прелесть для исследователя, и его опасность.

Обаяние литературы о нервах состоит в первую очередь в том, что в ней чувствуется собственный опыт пишущего, его опыт самопознания. Если неврологи постоянно заверяют, что при всей путаной симптоматике неврастению все же легко идентифицировать, то эта уверенность



произрастает не только из трезвого анализа, но также из интуиции и внутренней близости. И у Бирда, автора понятия «неврастения», заметен личный опыт этой болезни, и у немецкого специалиста Пауля Мёбиуса нетрудно разглядеть, что он пишет о себе. В оскорбительных письмах, которыми засыпали его шведские феминистки после выхода в свет его работы «О физиологическом слабоумии женщины» (1900), они с особым удовольствием нападали на его «нервность». Для них она проявлялась в его враждебности к женщинам и понималась ими прежде всего как сексуальное бессилие. «Мы над Вашей книгой [...] ужасно хохотали. [...] По одному тому, что такая книжка в принципе может быть написана, очевидно, как дегенерировали немцы. [...] Вся она свидетельствует о самой страшной нервности и тревоге» (см. примеч. 3).

Невролог Вилли Гельпах, в начале XX века самый расторопный молодой автор по теме «нервность» и один из основных моих свидетелей, не делал тайны из того, что расстройство, с которого когда-то началась его карьера, было и его собственной проблемой, и вместе с тем его шансом. Когда он был молодым врачом, «его страшно раздражало» ожидание пациентов, пропускавших прием. Его нерешительность в любви и двойная жизнь также выводили его из себя. «Моя жизнь становилась все более безнадежна. Я видел лишь кучу осколков и руины». Когда он открыл нервность как свою тему, он знал, о чем писал. Однако им руководило не одно только страдание, но и честолюбие. «Ходят слухи, что неврологу принадлежит будущее, XX век будет веком неврастения и ее преодоления». Именно неудержимая радость открытия неисследованных регионов обыденности сделала его тем, что он стал не крупным ученым, но медиумом своего времени. «Гельпах говорит обо всем, обо всем на свете», — смеялся его гейдельбергский коллега. Фрейд, однако, заверял Гельпаху, что относит его «к честным искателям истины, к каковым отношу и самого себя» (см. примеч. 4).

Диагноз, поставленный благодаря интуиции и самопознанию, имеет собственную сомнамбулическую надежность, а также коварство. Это еще больше относится к «нервности» как к политическому диагнозу. Немецкая история нервности — в кайзеровской Германии и после нее — повествует не только о психосоматическом расстройстве, но и о взаимодействии опыта расстройства и сознания своей эпохи. Это делает тему актуальной и сегодня, когда психологическая игра с собой и с миром определяет сознание более, чем когда-либо, и терапия, а также решение подвергнуться ей, стали существенной частью общения с собственным Я.

# I. Магистралы и перекрестки в истории нервов

## ПО СЛЕДАМ ВЫСОКИХ ТЕОРИЙ — О НЕРВозНОСТИ МОДЕРНА

Эта книга предполагает, что рассмотрение истории феномена нервозности нуждается в прицельной точности и индивидуальном подходе — нужно направить оптику на записи самих «нервнобольных», исследовать не только общую нервозность Нового времени, но и конкретные, частные истории. Правилен ли такой подход? Может быть, тема «нервозность» нуждается не в дотошном расследовании, а в антропологии, философии истории, универсальной великой перспективе? Может быть, мы наивно путаем слова и феномены, предполагая, что если понятие «нервозность» принадлежит модерну, то и сам феномен нервозности также родом оттуда? Разве тревоги и дрожь неудовлетворенных желаний не известны людям с незапамятных времен? «Погоня и охота дарят сердцу человека вспышки неистовства», — учил Лао-цзы в VI веке до н.э. Тоска по спокойствию духа уже тысячи лет остается одним из основных мотивов философских учений.

Следует ли из этого, что расстройство, которое мы сегодня называем «нервозность», идет из глубокой древности? В известном смысле — да: древний субстрат у него, безусловно, имеется. Мы имеем дело не только с обусловленными эпохой констелляциями, но и с одним из основных состояний человека. Однако тысячи лет ядром любой жизненной мудрости было обуздание страстей. В «нервный век» основной опыт, напротив, был иным: многие страдали от надлома, нерешительности чувств и тосковали по сильной страсти, способной собрать и направить в общее русло всю энергию. Именно этим объясняется политическая взрывоопасность интерпретации мира через «нервы». Артур Имхоф видит в истории Нового времени ментальный процесс снижения конкретных страхов и рост неясных тревог. Если это так, то конкретная угроза — такая как война — способна вызвать чувство облегчения. Швейцарский правовед Карл Хилти на рубеже веков иронизировал, что немцы любят завершать свои доклады о нервозности словами Бисмарка: «Мы, немцы, боимся Бога, но кроме него — ничего на свете». На самом же деле, по словам Хилти, как

раз Бога многие немцы не боятся, зато боятся многого другого, «а это и образует одну из главных причин неврастения» (см. примеч. 1).

Подавленность и уныние терзали людей уже в древности: меланхолия представляет собой исходную форму психического расстройства. Однако неврастения — не то же самое: она принадлежит тому культурному кругу, в котором умеренная меланхолия поддерживается многочисленными стимуляциями. Такой же древний, мифообразующий феномен представляет собой ярость. Но то наполовину сдержанное раздражение, которое связано с полупреодоленной меланхолией, носит скорее современные черты и подходит обществу, в котором не принято безудержно предаваться подобным страстям. Чезаре Ломброзо, известнейший итальянский психиатр конца XIX — XX века, считал неврастению характерной чертой своего времени, когда эксцессивные чистые формы неистовства и уныния отступали, а на сцену выходили «расстройства рассеянности» (см. примеч. 2).

Нервная слабость вследствие перегрузки: может ли это быть историческим новшеством? Изношенность тела за счет тяжелого труда известна, конечно, всю историю земледелия. Однако мир труда тысячи и тысячи лет находился во власти привычек и подчинялся ритму времен года. В традиционном аграрном обществе зима была временем относительно покоя, а вместе с тем темноты и холода, замирания жизненных соков и меланхолии. Непрестанная работа, напротив, увязывалась с хорошими сезонами: «торопливая страда» была привычной фразой. «Во время срочных полевых работ, — пишет сельский врач в 1905 году, — в сельском населении возникает трудовой порыв, он захватывает и гонит на работу все и вся, что только к нему способно». Даже «нервнобольной», «охваченный трудовым пылом», забывает о своем расстройстве (см. примеч. 3). Таким образом природа управляла психической стороной труда, пока непосильные поборы не парализовали волю к труду.

В городах форма и темп труда даже в XIX веке в значительной степени также регулировались привычками и природными ритмами. Лишь на рубеже веков стали наступать перемены. Невролог Франц Виндшейд в 1909 году отмечал, что «чувство, что не успеваешь что-то доделать» — «один из наиглавнейших источников» «профессиональной нервозности». Психиатр Ганс Бюргер-Принц справедливо называет хроническую боязнь не успеть выполнить повседневные задачи, не справиться или сделать что-то неверно массовым явлением модерна. То же можно сказать о мучительной разбросанности внимания. Вилли Гельпах<sup>1</sup> даже ста-

<sup>1</sup> Гельпах Вилли (1877–1955) — знаковый и тем самым типичный персонаж профессиональной культуры своей эпохи: некогда ученик самого Вильгельма Вундта, Гельпах вписал себя в историю как врач, психолог, журналист и политик-

вил точную дату: «рассеивание нагрузки» стало «всеобщим правилом» «где-то с 1890 года» (см. примеч. 4).

Итак, определенные типы психической нагрузки становятся массовыми лишь в Новое время. Но стоит ли историку переходить на микроуровень и изучать индивидуальные случаи? Может быть, тема требует мегаанализа: поисков психологических инструментов для теорий модернизации? Разве нервозность не вытекает логически из основных современных процессов, прежде всего подъема капиталистической конкуренции, индивидуализации, ускорения? Рассмотрим эти процессы внимательнее.

Начнем с причинно-следственной связи между капитализмом и нервозностью: эта связь кажется особенно сильной и бесспорной. Понятно, что конкуренция и ставка на высокие показатели, слияние рисков и шансов, подъемы и спады конъюнктуры, суетные вибрации биржи, тенденция к перманентным инновациям — все это означало для множества участников и жертв этих процессов аномальную нагрузку. «Щекочущее напряжение», по словам Фернана Броделя, пронизывает уже торговый капитализм раннего Нового времени (см. примеч. 5). В таком случае та «борьба за существование», на которую жалуются авторы трудов по нервозности, в конце XIX века новостью не была.

Но целиком и полностью свободный рынок существует только в экономической теории, а не в исторической реальности. Стремление к безопасности было всегда слишком сильным, и потому субъекты экономики во все времена проявляли замечательную изобретательность, как только им угрожала неопределенность тотальной свободы: вступали в действие привычки, договоренности, семейные связи, картели, закрытие национальных и региональных рынков. Постоянные инновации далеко не всегда служат жизненным законом капитализма, как считают экономисты-теоретики. Закон инерции и здесь проявлял свою силу, и в научных трудах его действие нередко обнаруживается между строк.

---

демократ. Самый цвет «нервного модерна» приходится на начало как его научных изысканий в области социальной патологии нервозности, так и трудовых будней в качестве невролога. Однако круг проблем, как и положено духу науки и времени, стремится вписать себя в более широкий дискурс и утвердиться в основополагающем — в культуре как таковой. Так, практически полувековой научный путь Гельпах от «Проституции и проститутки» (1905) до «Немецкого характера» (1954) затрагивает темы религии, воспитания, образования, гигиены, труда, искусства, творческого акта, урбанизма, социума, этноса, географии и проч., — по сути, преломляя психиатрическую дисциплину культурологически. Несмотря на столь широкий горизонт интересов, Гельпах известен прежде всего как один из лидеров и родоначальников геопсихологии, и шире — психологии среды.

Но в конце XIX века экономические отношения в Германии становятся все более бурными, стереотипная жалоба на «травлю и охоту» была не пустой фразой. Как писал в 1911 году исходя из собственного опыта социолог и философ Макс Вебер, на рубеже веков из-за обострения конкуренции многие индустриальные предприятия, которые еще недавно почти не занимались учетом прибыли, были вынуждены перейти к строгим калькуляциям своих доходов. Эти тяжелые времена оставили свой след в нервных клиниках — как, например, в истории текстильного фабриканта из-под Аахена, 51 года, в 1907 году прибывшего в санаторий Бельвю<sup>2</sup> на Боденском озере: «Пациент с 14 лет постоянно перенапряжен [...] повсюду ощущает беспокойство, “нигде не задерживается надолго”, меняет врачей и курсы лечения». Его родственник уверяет, что для экзистенциальных тревог фабриканта в принципе нет оснований, все дело только в том, что смена эпох отняла у него чувство безопасности: конкуренция в текстильной сфере лишила ее былого уюта и повлияла на рентабельность. «Пережить этот факт (он) не в силах, и это его постоянно злит и мучает». И теперь он «из каждой мухи делает слона» (см. примеч. 6). Даже когда дела шли хорошо, новые обстоятельства — необозримость экономики и постоянная необходимость держать уши востро — оборачивались для чувствительных натур вечной мукой.

Капитализм влияет на психику не только своим давлением, но и заманчивыми перспективами — сулит новые шансы и создает новые потребности. «В начале была Англия. И удовлетворенность ушла из этого мира», — лаконично комментирует один эконом начало индустриальной революции (см. примеч. 7). Не случайно в XVIII веке нервные расстройства нового типа фиксировались как «английская болезнь». Хроническое недовольство объясняется самой сутью денег: ведь она заключается не в исполнении определенного желания, а в создании шанса для удовлетворения любых потребностей. Деньги становятся мате-

<sup>2</sup> Санаторий Бельвю — с 1857 до 1980 года легендарная психиатрическая клиника в Кройцлингене (Швейцария), которой руководили четыре поколения семьи прославленных психиатров Бинсвангеров: Людвиг-ст., Роберт, Людвиг-мл. и Вольфганг Бинсвангеры. Клиника сыграла существенную роль в развитии теоретической и практической психиатрии. Так как клиентуру клиники составляли в основном выходцы из аристократии, она стала и знаковым культурным топосом, особенно в период интенсивной (и во многом эстетической) мифологизации психических отклонений как сопроводительных признаков творческого склада человека. Так, среди пациентов и гостей клиники были известные ученые, художники и поэты (в культурной истории этот феномен стал называться «богемой на Боденском озере»), такие как Нижинский, Грюндгенс, Кирхнер, Франк, а также Анна О., самая знаменитая героиня «Исследований истерии» Брейера и Фрейда. Клиника была закрыта по финансовым причинам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)